

Лев Толстой Отец Сергей

I

В Петербурге в сороковых годах случилось удивившее всех событие: красавец, князь, командир лейб-эскадрона кирасирского полка, которому все предсказывали и флигель-адъютантство и блестящую карьеру при императоре Николае I, за месяц до свадьбы с красавицей фрейлиной, пользовавшейся особой милостью императрицы, подал в отставку, разорвал свою связь с невестой, отдал небольшое имение свое сестре и уехал в монастырь, с намерением поступить в него монахом. Событие казалось необыкновенным и необъяснимым для людей, не знавших внутренних причин его; для самого же князя Степана Касатского все это сделалось так естественно, что он не мог и представить себе, как бы он мог поступить иначе.

Отец Степана Касатского, отставной полковник гвардии, умер, когда сыну было двенадцать лет. Как ни жаль было матери отдавать сына из дома, она не решилась не исполнить воли покойного мужа, который в случае своей смерти завещал не держать сына дома, а отдать в корпус, и отдала его в корпус. Сама же вдова с дочерью Варварой переехала в Петербург, чтобы жить там же, где сын, и брать его на праздники.

Мальчик выдавался блестящими способностями и огромным самолюбием, вследствие чего он был первым и по наукам, в особенности по математике, к которой он имел особенное пристрастие, и по фронту и верховой езде. Несмотря на свой выше обыкновенного рост, он был красив и ловок. Кроме того, и по поведению он был бы образцовым кадетом, если бы не его вспыльчивость. Он не пил, не распутничал и был замечательно правдив. Одно, что мешало ему быть образцовым, были находившие на него вспышки гнева, во время которых он совершенно терял самообладание и делался зверем. Один раз он чуть не выкинул из окна кадета, начавшего трунуть над его коллекцией минералов. Другой раз он чуть было не погиб: целым блюдом котлет пустил в эконома, бросился на офицера и, говорят, ударил его за то, что тот отрекся от своих слов и прямо в лицо солгал. Его наверно бы разжаловали в солдаты, если бы директор корпуса не скрыл все дело и не выгнал эконома.

Восемнадцати лет он был выпущен офицером в гвардейский аристократический полк. Император Николай Павлович знал его еще в корпусе и отличал его и после в полку, так что ему пророчили флигель-адъютантство. И Касатский сильно желал этого не только из честолюбия, но, главное, потому, что еще со времен корпуса страстно, именно страстно, любил Николая Павловича. Всякий приезд Николая Павловича в корпус, – а он часто ездил к ним, – когда входила бодрым шагом эта высокая, с выпяченной грудью, горбатым носом над усами и с подрезанными бакенбардами фигура в военном сюртуке и могучим голосом здоровалась с кадетами, Касатский испытывал восторг влюбленного, такой же, какой он испытывал после, когда встречал предмет любви. Только влюбленный восторг к Николаю Павловичу был сильнее. Хотелось показать ему свою беспредельную преданность, пожертвовать чем-нибудь, всем собой ему. И Николай Павлович знал, что возбуждает этот восторг, и умышленно вызывал его. Он играл с кадетами, окружал себя ими, то ребячески просто, то дружески, то торжественно-величественно обращаясь с ними. После последней истории Касатского с офицером Николай Павлович ничего не сказал Касатскому, но, когда тот близко подошел к нему, он театрально отстранил его и, нахмурившись, погрозил пальцем и потом, уезжая, сказал:

– Знайте, что все мне известно, но некоторые вещи я не хочу знать. Но они здесь.

Он показал на сердце.

Когда же выпущенные кадеты являлись ему, он уже не поминал об этом, сказал, как всегда, что они все могут прямо обращаться к нему, чтоб они верно служили ему и отечеству, а он всегда останется их первым другом. Все, как всегда, были тронуты, а Касатский, помня прошедшее, плакал слезами и дал обет служить любимому царю всеми своими силами.

Когда Касатский вышел в полк, мать его переехала с дочерью сначала в Москву, а потом в

деревню. Касатский отдал сестре половину состояния. То, что оставалось у него, было только достаточно для того, чтобы содержать себя в том роскошном полку, в котором он служил.

С внешней стороны Касатский казался самым обыкновенным молодым блестящим гвардейцем, делающим карьеру, но внутри его шла сложная и напряженная работа. Работа с самого его детства шла, по-видимому, самая разнообразная, но, в сущности, все одна и та же, состоящая в том, чтобы во всех делах, представлявшихся ему на пути, достигать совершенства и успеха, вызывающего похвалы и удивление людей. Было ли это ученье, науки, он брался за них и работал до тех пор, пока его хвалили и ставили в пример другим. Добившись одного, он брался за другое. Так он добился первого места по наукам, так он, еще будучи в корпусе, заметив раз за собой неловкость в разговоре по-французски, добился до того, чтобы овладеть французским, как русским; так он потом, занявшись шахматами, добился того, что, еще будучи в корпусе, стал отлично играть.

Кроме общего призвания жизни, которое состояло в служении царю и отечеству, у него всегда была поставлена какая-нибудь цель, и, как бы ничтожна она ни была, он отдавался ей весь и жил только для нее до тех пор, пока не достигал ее. Но как только он достигал назначенной цели, так другая тотчас же вырастала в его сознании и сменяла прежнюю. Это-то стремление отличиться и, для того, чтобы отличиться, достигнуть поставленной цели, наполняло его жизнь. Так, по выходе в офицеры, он задался целью наивозможнейшего совершенства в знании службы и очень скоро стал образцовым офицером, хотя и опять с тем недостатком неудержимой вспыльчивости, которая и на службе вовлекла его в дурные и вредные для успеха поступки. Потом, почувствовав раз в светском разговоре свой недостаток общего образования, задался мыслью пополнить его и засел за книги, и добился того, чего хотел. Потом он задался мыслью достигнуть блестящего положения в высшем светском обществе, выучился отлично танцевать и очень скоро достиг того, что был зван на все великосветские балы и на некоторые вечера. Но это положение не удовлетворяло его. Он привык быть первым, а в этом деле он далеко не был им.

Высшее общество тогда состояло, да, я думаю, всегда и везде состоит из четырех сортов людей: из 1) людей богатых и придворных; из 2) небогатых людей, но родившихся и выросших при дворе; 3) из богатых людей, подделывающихся к придворным, и 4) из небогатых и непридворных людей, подделывающихся к первым и вторым. Касатский не принадлежал к первым. Касатский был охотно принимаем в последние два круга. Даже вступая в свет, он задал себе целью связь с женщиной света – и неожиданно для себя скоро достиг этого. Но очень скоро он увидал, что те круги, в которых он вращался, были круги низшие, а что были высшие круги, и что в этих высших придворных кругах, хотя его и принимали, он был чужой; с ним были учтивы, но все обращение показывало, что есть свои и он не свой. И Касатский захотел быть там своим. Для этого надо было быть или флигель-адъютантом, – и он дожидался этого, – или жениться в этом кругу. И он решил, что сделает это. И он избрал девушку, красавицу, придворную, не только свою в том обществе, в которое он хотел вступить, но такую, с которой старались сблизиться все самые высоко и твердо поставленные в высшем кругу люди. Это была графиня Короткова. Касатский не для одной карьеры стал ухаживать за Коротковой, она была необыкновенно привлекательна, и он скоро влюбился в нее. Сначала она была особенно холодна к нему, но потом вдруг все изменилось, и она стала ласкова, и ее мать особенно усиленно приглашала его к себе.

Касатский сделал предложение и был принят. Он был удивлен легкостью, с которой он достиг такого счастья, и чем-то особенным, странным в обращении и матери и дочери. Он был очень влюблен, и ослеплен, и потому не заметил того, что знали почти все в городе, что его невеста была за год тому назад любовницей Николая Павловича.

II

За две недели до назначенного дня свадьбы Касатский сидел в Царском Селе на даче у своей невесты. Был жаркий майский день. Жених с невестой походили по саду и сели на лавочке в тенистой липовой аллее. Мэри была особенно хороша в белом кисейном платье. Она казалась олицетворением невинности и любви. Она сидела, то опустив голову, то взглядывая на огромно-

го красавца, который с особенной нежностью и осторожностью говорил с ней, каждым своим жестом, словом боясь оскорбить, осквернить ангельскую чистоту невесты. Касатский принадлежал к тем людям сороковых годов, которых уже нет нынче, к людям, которые, сознательно допуская для себя и внутренне не осуждая нечистоту в половом отношении, требовали от жены идеальной, небесной чистоты, и эту самую небесную чистоту признавали в каждой девушке своего круга, и так относились к ним. В таком взгляде было много неверного и вредного в той распушенности, которую позволяли себе мужчины, но по отношению женщин такой взгляд, резко отличающийся от взгляда теперешних молодых людей, видящих в каждой девушке ищущую себе дружку самку, – такой взгляд был, я думаю, полезен. Девушки, видя такое обоготворение, старались и быть более или менее богинями. Такого взгляда на женщин держался и Касатский и так смотрел на свою невесту. Он был особенно влюблен в этот день и не испытывал ни малейшей чувственности к невесте, напротив, с умилением смотрел на нее, как на нечто недостижимое.

Он встал во весь свой большой рост и стал перед нею, опершись обеими руками на саблю.

– Я только теперь узнал всё то счастье, которое может испытать человек. И это вы, это ты, – сказал он, робко улыбаясь, – дала мне это!

Он был в том периоде, когда «ты» еще не сделалось привычно, и ему, смотря нравственно снизу вверх на нее, страшно было говорить «ты» этому ангелу.

– Я себя узнал благодаря... тебе, узнал, что я лучше, чем я думал.

– Я давно это знаю. Я за то-то и полюбила вас. Соловей защелкал вблизи, свежая листва зашевелилась от набежавшего ветерка.

Он взял ее руку и поцеловал ее, и слезы выступили ему на глаза. Она поняла, что он благодарит ее за то, что она сказала, что полюбила его. Он прошелся, помолчал, потом подошел, сел.

– Вы знаете, ты знаешь, ну, все равно. Я сблизился с тобой не бескорыстно, я хотел установить связи с светом, но потом... Как ничтожно стало это в сравнении с тобой, когда я узнал тебя. Ты не сердись на меня за это?

Она не отвечала и только тронула рукой его руку.

Он понял, что это значило: «Нет, не сержусь».

– Да, ты вот сказала... – он замялся, ему показалось это слишком дерзко, – ты сказала, что полюбила меня, но, прости меня, я верю, но что-то, кроме этого, есть, что тебя тревожит и мешает. Что это?

«Да, теперь или никогда, – подумала она. – Все равно он узнает. Но теперь он не уйдет. Ах, если бы он ушел, это было бы ужасно!»

И она любовным взглядом окинула всю его большую, благородную, могучую фигуру. Она любила его теперь больше Николая и, если бы не императорство, не променяла бы этого на того.

– Послушайте. Я не могу быть неправдива. Я должна сказать все. Вы спрашиваете, что? То, что я любила.

Она положила свою руку на его умоляющим жестом.

Он молчал.

– Вы хотите знать кого? Да, его, государя.

– Мы все любим его, я воображаю, вы в институте...

– Нет, после. Это было увлечение, но потом прошло. Но я должна сказать...

– Ну, так что же?

– Нет, я не просто.

Она закрыла лицо руками.

– Как? Вы отдались ему?

Она молчала.

– Любовницей?

Она молчала.

Он вскочил и бледный, как смерть, с трясущимися скулами, стоял перед нею. Он вспомнил теперь, как Николай Павлович, встретив его на Невском, ласково поздравлял его.

– Боже мой, что я сделала, Стива!

– Не трогайте, не трогайте меня. О, как больно!

Он повернулся и пошел к дому. В доме он встретил мать.

– Вы что, князь? Я... – Она замолчала, увидав его лицо. Кровь вдруг ударила ему в лицо.

– Вы знали это и мной хотели прикрыть их. Если бы вы не были женщины, – вскрикнул он, подняв огромный кулак над нею, и, повернувшись, убежал.

Если бы тот, кто был любовником его невесты, был бы частный человек, он убил бы его, но это был обожаемый царь.

На другой же день он подал в отпуск и отставку и сказался больным, чтобы никого не видеть, и поехал в деревню.

Лето он провел в своей деревне, устраивая свои дела. Когда же кончилось лето, он не вернулся в Петербург, а поехал в монастырь и поступил в него монахом.

Мать писала ему, отговаривая от такого решительного шага. Он отвечал ей, что призвание бога выше всех других соображений, а он чувствует его. Одна сестра, такая же гордая и честолюбивая, как и брат, понимала его.

Она понимала, что он стал монахом, чтобы стать выше тех, которые хотели показать ему, что они стоят выше его. И она понимала его верно. Поступая в монахи, он показывал, что презирает все то, что казалось столь важным другим и ему самому в то время, как он служил, и становился на новую такую высоту, с которой он мог сверху вниз смотреть на тех людей, которым он прежде завидовал. Но не одно это чувство, как думала сестра его Варенька, руководило им. В нем было и другое, истинно религиозное чувство, которого не знала Варенька, которое, переплетаясь с чувством гордости и желанием первенства, руководило им. Разочарование в Мэри (невесте), которую он представлял себе таким ангелом, и оскорбление было так сильно, что привело его к отчаянию, а отчаяние куда? – к богу, к вере детской, которая никогда не нарушалась в нем.

III

В день Покрова Касатский поступил в монастырь.

Игумен монастыря был дворянин, ученый писатель и старец, то есть принадлежал к той преемственности, ведущейся из Валахии, монахов, безропотно подчиняющихся избранному руководителю и учителю. Игумен был ученик известного старца Амвросия, ученика Макария, ученика старца Леонида, ученика Паисия Величковского. Этому игумну подчинился, как своему старцу, Касатский. Кроме того чувства сознания своего превосходства над другими, которое испытывал Касатский в монастыре, Касатский так же, как и во всех делах, которые он делал, и в монастыре находил радость в достижении наибольшего как внешнего, так и внутреннего совершенства. Как в полку он был не только безукоризненным офицером, но таким, который делал больше того, что требовалось, и расширял рамки совершенства, так и монахом он старался быть совершенным: трудящимся всегда, воздержным, смиренным, кротким, чистым не только на деле, но и в мыслях, и послушным. В особенности последнее качество, или совершенство, облегчало ему жизнь. Если многие требования монашеской жизни в монастыре, близком к столице и многопосещаемом, не нравились ему, соблазняя его, все это уничтожалось послушанием: не мое дело рассуждать, мое дело нести назначенное послушание, будет ли то стояние у мощей, пение на клиросе или ведение счетов по гостинице. Всякая возможность сомнений в чем: бы то ни было устранялась тем же послушанием старцу. Не будь послушания, он бы тяготился и продолжительностью и однообразием церковных служб, и суетой посетителей, и дурными свойствами братии, но теперь все это не только радостно переносилось, но составляло в жизни утешение и поддержку. «Не знаю, зачем надо слышать несколько раз в день те же молитвы, но знаю, что это нужно. А зная, что это нужно, нахожу радость в них». Старец сказал ему, что как нужна материальная пища для поддержания жизни, так нужна духовная пища – молитва церковная – для поддержания духовной жизни. Он верил в это, и действительно, служба церковная, на которую он с трудом поднимался иногда поутру, давала ему несомненное успокоение и радость. Радость давала сознание смирения и несомненности поступков, всех определенных старцем. Интерес же жизни состоял не только во все большем и большем покорении своей воли, во все большем и большем смирении, но и в достижении всех христианских добродетелей, которые в первое время

казались ему легко достижимыми. Имя свое он все отдал в монастырь и не жалел его, лени у него не было. Смирение перед низшими было не только легко ему, но доставляло ему радость. Даже победа над грехом похоти, как жадности, так и блуда, легко далась ему. Старец в особенности предостерегал его от этого греха, но Касатский радовался, что был свободен от него.

Мучало его только воспоминание о невесте. И не только воспоминание, но представление живое о том, что могло бы быть. Невольно представлялась ему знакомая фаворитка государя, вышедшая потом замуж и ставшая прекрасной женой, матерью семейства. Муж же имел важное назначение, имел и власть, и почет, и хорошую, покаявшуюся жену.

В хорошие минуты Касатского не смущали эти мысли. Когда он вспоминал про это в хорошие минуты, он радовался, что избавился от этих соблазнов. Но были минуты, когда вдруг все то, чем он жил, тускнело перед ним, он переставал не то что верить в то, чем жил, но переставал видеть это, не мог вызвать в себе того, чем жил, а воспоминание и – ужасно сказать – раскаяние в своем обращении охватывало его.

Спасенье в этом положении было послушание – работа и весь занятой день молитвой. Он, как обыкновенно, молился, клал поклоны, даже больше обыкновенного молился, но молился телом, души не было. И это продолжалось день, иногда два и потом само проходило. Но день этот или два были ужасны. Касатский чувствовал, что он не в своей и не в божьей власти, а в чьей-то чужой. И все, что он мог делать и делал в эти времена, было то, что советовал старец, чтобы держаться, ничего не предпринимать в это время и ждать. Вообще за все это время Касатский жил не по своей воле, а по воле старца, и в этом послушании было особенное спокойствие.

Так прожил Касатский в первом монастыре, куда поступил, семь лет. В конце третьего года был пострижен в иеромонахи с именем Сергия. Пострижение было важным внутренним событием для Сергия. Он и прежде испытывал великое утешение и подъем духовный, когда причащался; теперь же, когда ему случалось служить самому, совершение проскомидии* приводило его в восторженное, умиленное состояние. Но потом чувство это все более и более притуплялось, и когда один раз ему случилось служить в том подавленном состоянии духа, в котором он бывал, он почувствовал, что и это пройдет. И действительно, чувство это ослабело, но осталась привычка.

Вообще на седьмой год своей жизни в монастыре Сергию стало скучно. Все то, чему надо было учиться, все то, чего надо было достигнуть, – он достиг, и больше делать было нечего.

Но зато состояние усыпления становилось все сильнее. За это время он узнал о смерти своей матери и о выходе замуж Мэри. Оба известия он принял равнодушно. Все внимание, все интересы его были сосредоточены на своей внутренней жизни.

На четвертом году его монашества архиерей особенно обласкал его, и старец сказал ему, что он не должен будет отказываться, если его назначат на высшие должности. И тогда монашеское честолюбие, то самое, которое так противно было в монахах, поднялось в нем. Его назначили в близкий к столице монастырь. Он хотел отказаться, но старец велел ему принять назначение. Он принял назначение, простился с старцем и переехал в другой монастырь.

Переход этот в столичный монастырь был важным событием в жизни Сергия. Соблазнов всякого рода было много, и все силы Сергия были направлены на это.

В прежнем монастыре соблазн женский мало мучал Сергия, здесь же соблазн этот поднялся с страшной силой и дошел до того, что получил даже определенную форму. Была известная своим дурным поведением барыня, которая начала заискивать в Сергии. Она заговорила с ним и просила его посетить ее. Сергий отказал строго, но ужаснулся определенности своего желания. Он так испугался, что написал о том старцу, но мало того, чтобы окоротить себя, призвал своего молодого послушника и, покоря стыд, признался ему в своей слабости, прося его следить за ним и не пускать его никуда, кроме служб и послушаний.

Кроме того, великий соблазн для Сергия состоял в том, что игумен этого монастыря, светский, ловкий человек, делавший духовную карьеру, был в высшей степени антипатичен Сергию. Как ни бился с собой Сергий, он не мог преодолеть этой антипатии. Он смирялся, но в глубине души не переставал осуждать. И дурное чувство это разразилось.

Это было уже на второй год пребывания его в новом монастыре. И случилось это вот как. В Покров всенощная шла в большой церкви. Много было приезжего народа. Служил сам игумен. Отец Сергей стоял на обычном своем месте и молился, то есть находился в том состоянии борьбы, в котором он всегда находился во время служб, особенно в большой церкви, когда он не служил сам. Борьба состояла в том, что его раздражали посетители, господа, особенно дамы. Он старался не видеть их, но замечать всего того, что делалось: не видеть того, как солдат провожал их, расталкивая народ, как дамы показывали друг другу монахов – часто его даже и известного красавца монаха. Он старался, выдвинув как бы шоры своему вниманию, не видеть ничего, кроме блеска свечей у иконостаса, иконы и служащих; не слышать ничего, кроме петых и произносимых слов молитв, и не испытывать никакого другого чувства, кроме того самозабвения в сознании исполнения должного, которое он испытывал всегда, слушая и повторяя вперед столько раз слышанные молитвы.

Так он стоял, кланялся, крестился там, где это нужно было, и боролся, отдаваясь то холодному осуждению, то сознательно вызываемому замиранию мыслей и чувств, когда ризничий, отец Никодим, тоже великое искушение для отца Сергея, – Никодим, которого он невольно упрекал в подделыванье и лести к игумну, – подошел к нему и, поклонившись перегибающимся надвое поклоном, сказал, что игумен зовет его к себе в алтарь. Отец Сергей обдернул мантию, надел клобук и пошел осторожно через толпу.

– Lise, regardez à droit, c'est lui¹, – послышался ему женский голос.

– Où, où? Il n'est pas tellement beau².

Он знал, что это говорили про него. Он слышал и, как всегда в минуты искушений, твердил слова: «И не введи нас во искушение», – и, опустив голову и глаза, прошел мимо амвона и, обойдя канонархов в стихарях*, проходивших в это время мимо иконостаса, вошел в северные двери. Войдя в алтарь, он, по обычаю, крестно поклонился, перегибаясь надвое, перед иконой, потом поднял голову и взглянул на игумна, которого фигуру рядом с другой блестящей чем-то фигурой он видел углом глаза, не обращаясь к ним.

Игумен стоял в облачении у стены, выпростав короткие пухлые ручки из-под ризы над толстым телом и животом и растирая галун ризы, улыбаясь, говорил что-то с военным в генеральском свитском мундире с вензелями и аксельбантами, которые сейчас рассмотрел отец Сергей своим привычным военным глазом. Генерал этот был бывший полковой командир их полка. Теперь он, очевидно, занимал важное положение, и отец Сергей тотчас же заметил, что игумен знает это и рад этому, и оттого так сияет его красное толстое лицо с лысиной. Это оскорбило и огорчило отца Сергея, и чувство это еще усилилось, когда он услышал от игумна, что вызов его, отца Сергея, ни на что другое не был нужен, как на то, чтобы удовлетворить любопытству генерала увидеть своего прежнего сослуживца, как он выразился.

– Очень рад видеть вас в ангельском образе, – сказал генерал, протягивая руку, – надеюсь, что вы не забыли старого товарища.

Все лицо игумна, среди седин красное и улыбающееся, как бы одобряющее то, что говорил генерал, выхоленное лицо генерала с самодовольной улыбкой, запах вина изо рта генерала и сигар от его бакенбард – все это взорвало отца Сергея. Он поклонился еще раз игумну и сказал:

– Ваше преподобие изволили звать меня? – И он остановился, всем выражением лица и позы спрашивая: зачем?

Игумен сказал:

– Да, повидаться с генералом.

– Ваше преподобие, я ушел от мира, чтобы спастись от соблазнов, – сказал он, бледнея и с трясущимися губами. – За что же вы здесь подвергаете меня им? Во время молитвы и в храме божем.

¹ Лиза, взгляни направо, это он (франц.).

² Где, где? Он не так уж красив (франц.).

– Иди, иди, – вспыхнув и нахмурившись, сказал игумен.

На другой день отец Сергей просил прощения у игумна и братии за свою гордость, но вместе с тем, после ночи, проведенной в молитве, решил, что ему надо оставить этот монастырь, и написал об этом письмо старцу, умоляя его разрешить ему перейти назад в монастырь старца. Он писал, что чувствует свою слабость и неспособность бороться один против соблазнов без помощи старца. И каялся в своем грехе гордости. С следующей почтой пришло письмо от старца, в котором тот писал ему, что причиной всему его гордость. Старец разъяснял ему, что его вспышка гнева произошла оттого, что он смирился, отказавшись от духовных почестей не ради бога, а ради своей гордости, что вот, мол, я какой, ни в чем не нуждаюсь. От этого он и не мог перенести поступка игумна. Я всем пренебрег для бога, а меня показывают, как зверя. «Если бы ты пренебрег славой для бога, ты бы снес. Еще не потухла в тебе гордость светская. Думал я о тебе, чадо Сергей, и молился, и вот что о тебе бог внушил мне: живи по-прежнему и покорись. В это время стало известно, что в скиту помер святой жизни затворник Илларион. Он жил там восемнадцать лет. Игумен тамбинский спрашивал, нет ли брата, который хотел бы жить там. А тут твое письмо. Ступай к отцу Паисию в Тамбинский монастырь, я напишу ему, а ты просись занять Илларионову келью. Не то, чтобы ты мог заменить Иллариона, но тебе нужно уединение, чтобы смирить гордыню. Да благословит тебя бог».

Сергей послушался старца, показал его письмо игумну и, испросив его позволения, отдав свою келью и все свои вещи монастырю, уехал в Тамбинскую пустынь.

В Тамбинской пустыни настоятель, прекрасный хозяин, из купцов, принял просто и спокойно Сергея и поместил его в келье Иллариона, дав сначала ему келейника, а потом, по желанию Сергея, оставив его одного. Келья была пещера, выкопанная в горе. В ней был и похоронен Илларион. В задней пещере был похоронен Илларион, в ближней была ниша для спанья, с соломенным матрацем, столик и полка с иконами и книгами. У двери наружной, которая запиралась, была полка; на эту полку раз в день монах приносил пищу из монастыря.

И отец Сергей стал затворником.

IV

На масленице шестого года жизни Сергея в затворе из соседнего города, после блинов с вином, собралась веселая компания богатых людей, мужчин и женщин, кататься на тройках. Компания состояла из двух адвокатов, одного богатого помещика, офицера и четырех женщин. Одна была жена офицера, другая – помещика, третья была девица, сестра помещика, и четвертая была разводная жена, красавица, богачка и чудачка, удивлявшая и мутившая город своими выходками.

Погода была прекрасная, дорога – как пол. Проехали верст десять за городом, остановились, и началось совещание, куда ехать: назад или дальше.

– Да куда ведет эта дорога? – спросила Маковкина, разводная жена, красавица.

– В Тамбино, отсюда двенадцать верст, – сказал адвокат, ухаживавший за Маковкиной.

– Ну, а потом?

– А потом на Л. через монастырь.

– Там, где отец Сергей этот живет?

– Да.

– Касатский? Этот красавец пустынный?

– Да.

– Медам! Господа! Едемте к Касатскому. В Тамбине отдохнем, закусим.

– Но мы не успеем ночевать домой.

– Ничего, ночуем у Касатского.

– Положим, там есть гостиница монастырская, и очень хорошо. Я был, когда защищал Махина.

– Нет, я у Касатского буду ночевать.

– Ну, уж это даже с вашим всемогуществом невозможно.

- Невозможно? Пари.
- Идет. Если вы ночуете у него, то я что хотите.
- A discrétion³.
- А вы тоже!
- Ну да. Едемте.

Ямщикам поднесли вина. Сами достали ящик с пирожками, вином, конфетами. Дамы закутались в белые собачьи шубы. Ямщики поспорили, кому ехать передом, и один, молодой, повернувшись ухарски боком, повел длинным кнутовищем, крикнул, – и залились колокольчики, и завизжали полозья.

Сани чуть подрагивали и покачивались, пристяжная ровно и весело скакала с своим круто подвязанным хвостом над наборной шлейей, ровная, масляная дорога быстро убегала назад, ямщик ухарски пошевеливал вожжами, адвокат, офицер, сидя напротив, что-то вдали с соседкой Маковкиной, а она сама, завернувшись туго в шубу, сидела неподвижно и думала: «Все одно и то же, и все гадкое: красные, глянцевиные лица с запахом вина и табаку, те же речи, те же мысли, и все вертится около самой гадости. И все они довольны и уверены, что так надо, и могут так продолжать жить до смерти. Я не могу. Мне скучно. Мне нужно что-нибудь такое, что бы все это расстроило, перевернуло. Ну, хоть бы как те, в Саратове, кажется, поехали и замерзли. Ну, что бы наши сделали? Как бы вели себя? Да, наверно, подло. Каждый бы за себя. Да и я тоже подло вела бы себя. Но я, по крайней мере, хороша. Они-то знают это. Ну, а этот монах? Неужели он этого уже не понимает? Неправда. Это одно они понимают. Как осенью с этим кадетом. И какой он дурак был...»

- Иван Николаич! – сказала она.
- Что прикажете?
- Да ему сколько лет?
- Кому?
- Да Касатскому.
- Кажется, лет за сорок.
- И что же, он принимает всех?
- Всех, но не всегда.
- Закройте мне ноги. Не так. Какой вы неловкий! Ну, еще, еще, вот так. А ног моих жать не нужно.

Так они доехали до леса, где стояла келья.

Она вышла и велела им уехать. Они отговаривали ее, но она рассердилась и велела уезжать. Тогда сани уехали, а она, в своей белой собачьей шубе, пошла по дорожке. Адвокат слез и остался смотреть.

V

Отец Сергей жил шестой год в затворе. Ему было сорок девять лет. Жизнь его была трудная. Не трудами поста и молитвы, это были не труды, а внутренней борьбой, которой он никак не ожидал. Источников борьбы было два: сомнение и плотская похоть. И оба врага всегда поднимались вместе. Ему казалось, что это были два разные врага, тогда как это был один и тот же. Как только уничтожалось сомнение, так уничтожалась похоть. Но он думал, что это два разные дьявола, и боролся с ними порознь.

«Боже мой! боже мой! – думал он. – За что не даешь ты мне веры. Да, похоть, да, с нею боролся святой Антоний и другие, но вера. Они имели ее, а у меня вот минуты, часы, дни, когда нет ее. Зачем весь мир, вся прелесть его, если он греховен и надо отречься от него? Зачем ты сделал этот соблазн? Соблазн? Но не соблазн ли то, что я хочу уйти от радостей мира и что-то готовлю там, где ничего нет, может быть. – Сказал он себе и ужаснулся, омерзился на самого се-

³ По усмотрению (франц.).

бя. – Гадина! Гадина! Хочешь быть святым», – начал он бранить себя. И стал на молитву. Но только что он начал молиться, как ему живо представился он сам, каким он бывал в монастыре: в клобуке, в мантии, в величественном виде. И он покачал головой. «Нет, это не то. Это обман. Но других я обману, а не себя и не бога. Не величественный я человек, а жалкий, смешной». И он откинул полы рясы и посмотрел на свои жалкие ноги в подштанниках. И улыбнулся.

Потом он опустил полы и стал читать молитвы, креститься и кланяться. «Неужели одр сей мне гроб будет?» – читал он. И как бы дьявол какой шепнул ему: «Одр одинокий и то гроб. Ложь». И он увидел в воображении плечи вдовы, с которой он жил. Он отряхнулся и продолжал читать. Прочтя правила, он взял Евангелие, раскрыл его и напал на место, которое он часто твердил и знал наизусть: «Верую, господи, помоги моему неверию». Он убрал назад все выступающие сомнения. Как устанавливают предмет неустойчивого равновесия, он установил опять свою веру на колеблющейся ножке и осторожно отступил от нее, чтобы не толкнуть и не завалить ее. Шоры выдвинулись опять, и он успокоился. Он повторил свою детскую молитву: «Господи, возьми, возьми меня», – и ему не только легко, но радостно-умиленно стало. Он перекрестился и лег на свою подстилочку на узенькой скамье, положив под голову летнюю ряску. И он заснул. В легком сне ему казалось, что он слышал колокольчики. Он не знал, наяву ли это было или во сне. Но вот из сна его разбудил стук в его двери. Он поднялся, не веря себе. Но стук повторился. Да, это был стук близкий, в его двери, и женский голос.

«Боже мой! Да неужели правда то, что я читал в житиях, что дьявол принимает вид женщины... Да, это голос женщины. И голос нежный, робкий и милый! Тьфу! – он плюнул. – Нет, мне кажется», – сказал он и отошел к углу, перед которым стоял аналойчик, и опустил на колена тем привычным правильным движением, в котором, в движении в самом, он находил утешение и удовольствие. Он опустился, волосы повисли ему на лицо, и прижал оголявшийся уже лоб к сырой, холодной полосухе. (В полу дуло.)

...читал он псалом, который, ему говорил старичок отец Пимен, помогал от наваждения. Он легко поднял на сильных нервных ногах свое исхудалое легкое тело и хотел продолжать читать дальше, но не читал, а невольно напрягал слух, чтобы слышать. Ему хотелось слышать. Было совсем тихо. Те же капли с крыши падали в кадучку, поставленную под угол. На дворе была мга, туман, съедавший снег. Было тихо, тихо. И вдруг зашуршало у окна, и явственно голос – тот же нежный робкий голос, такой голос, который мог принадлежать только привлекательной женщине, проговорил:

– Пустите. Ради Христа...

Казалось, вся кровь прилила к сердцу и остановилась. Он не мог вздохнуть. «Да воскреснет бог и расточатся врази...»

– Да я не дьявол... – И слышно было, что улыбались уста, говорившие это. – Я не дьявол, я просто грешная женщина, заблудилась – не в переносном, а в прямом смысле (она засмеялась), замерзла и прошу приюта...

Он приложил лицо к стеклу. Лампадка отсвечивала и светилась везде в стекле. Он приставил ладони к обеим сторонам лица и вгляделся. Туман, мга, дерево, а вот направо. Она. Да, она, женщина в шубе с белой длинной шерстью, в шапке, с милым, милым, добрым испуганным лицом, тут, в двух вершках от его лица, пригнувшись к нему. Глаза их встретились и узнали друг друга. Не то чтобы они видели когда друг друга: они никогда не видались, но во взгляде, которым они обменялись, они (особенно он) почувствовали, что они знают друг друга, понятны друг другу. Сомневаться после этого взгляда в том, что это был дьявол, а не простая, добрая, милая, робкая женщина, нельзя было.

– Кто вы? Зачем вы? – сказал он.

– Да отоприте же, – с капризным самовластьем сказала она. – Я замерзла. Говорю вам, заблудилась.

– Да ведь я монах, отшельник.

– Ну, так и отоприте. А то хотите, чтоб я замерзла под окном, пока вы будете молиться.

– Да как вы...

– Не съем же я вас. Ради бога пустите. Я озябла наконец.

Ей самой становилось жутко. Она сказала это плачущим почти голосом.

Он отошел от окна, взглянул на икону Христа в терновом венке. «Господи, помоги мне, господи, помоги мне», – проговорил он, крестясь и кланяясь в пояс, и подошел к двери, отворил ее в сенцы. В сенях ощупал крючок и стал откидывать его. С той стороны он слышал шаги. Она от окна переходила к двери. «Ай!» – вдруг вскрикнула она. Он понял, что она ногой попала в лужу, натекающую у порога. Руки его дрожали, и он никак не мог поднять натянутый дверью крючок.

– Да что же вы, пустите же. Я вся измокла. Я замерзла. Вы об спасении души думаете, а я замерзла.

Он натянул дверь к себе, поднял крючок и, не рассчитав толчок, сунул дверь внаружу так, что толкнул ее.

– Ах, извините! – сказал он, вдруг совершенно перенесясь в давнишнее, привычное обращение с дамами.

Она улыбнулась, услышав это «извините». «Ну, он не так еще страшен», – подумала она.

– Ничего, ничего. Вы простите меня, – сказала она, проходя мимо его. – Я бы никогда не решилась. Но такой особенный случай.

– Пожалуйста, – проговорил он, пропуская ее мимо. Сильный запах, давно не слышанный им, тонких духов поразил его. Она прошла через сени в горницу. Он захлопнул наружную дверь, не накидывая крючка, прошел сени и вошел в горницу.

«Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя грешного, господи, помилуй мя грешного», – не переставая молился он не только внутренне, но и невольно наружно шевеля губами.

– Пожалуйста, – сказал он.

Она стояла посреди комнаты, с нее текло на пол, и разглядывала его. Глаза ее смеялись.

– Простите меня, что я нарушила ваше уединение. Но видите, в каком я положении. Произошло это оттого, что мы из города поехали кататься, и я побилась об заклад, что дойду одна от Воробьевки до города, но тут сбилась с дороги и вот, если бы не набрела на вашу келью... – начала она лгать. Но лицо его смущало ее, так что она не могла продолжать и замолчала. Она ожидала его совсем не таким. Он был не такой красавец, каким она воображала его, но он был прекрасен в ее глазах. Вьющиеся с проседью волосы головы и бороды, правильный тонкий нос и, как угли, горящие глаза, когда он прямо взглядывал, поразили ее.

Он видел, что она лжет.

– Да, так, – сказал он, взглянув на нее и опять опуская глаза. – Я пройду сюда, а вы располагайтесь.

И он, сняв лампочку, зажег свечу и, низко поклонившись ей, вышел в каморочку за перегородкой, и она слышала, как он что-то стал двигать там. «Вероятно, запирается чем-нибудь от меня», – подумала она, улыбнувшись, и, скинув собачью белую ротонду, стала снимать шапку, зацепившуюся за волоса, и вязаный платок, бывший под ней. Она вовсе не промокла, когда стояла под окном, и говорила про это только как предлог, чтоб он пустил ее. Но у двери она, точно, попала в лужу, и левая нога была мокра до икры, и ботинок и ботик полон воды. Она села на его койку – доску, только покрытую ковриком, – и стала разуваться. Келейка эта казалась ей прелестной. Узенькая, аршина в три горенка, длиной аршина четыре, была чиста, как стеклышко. В горенке была только койка, на которой она сидела, над ней полочка с книгами. В углу аналойчик, У двери гвозди, шуба и ряса. Над аналойчиком образ Христа в терновом венке и лампадка. Пахло странно: маслом, потом и землей. Все нравилось ей. Даже этот запах.

Мокрые ноги, особенно одна, беспокоили ее, и она поспешно стала разуваться, не переставая улыбаться, радуясь не столько тому, что она достигла своей цели, сколько тому, что она видела, что смутила его – этого прелестного, поразительного, странного, привлекательного мужчину. «Ну, не ответил, ну что же за беда», – сказала она себе.

– Отец Сергей! Отец Сергей! Так ведь вас звать?

– Что вам надо? – отвечал тихий голос.

– Вы, пожалуйста, простите меня, что я нарушила ваше уединение. Но, право, я не могла иначе. Я бы прямо заболела. Да и теперь я не знаю. Я вся мокрая, ноги как лед.

– Простите меня, – отвечал тихий голос, – я ничем не могу служить.

– Я бы ни за что не потревожила вас. Я только до рассвета.

Он не отвечал. И она слышала, что он шепчет что-то, – очевидно, молится.

– Вы не взойдете сюда? – спросила она улыбаясь. – А то мне надо раздеться, чтобы высушиться.

Он не отвечал, продолжая за стеной ровным голосом читать молитвы.

«Да, это человек», – думала она, с трудом стаскивая шлюпающий ботик. Она тянула его и не могла, и ей смешно это стало. И она чуть слышно смеялась, но, зная, что он слышит ее смех и что смех этот подействует на него именно так, как она этого хотела, она засмеялась громче, и смех этот, веселый, натуральный, добрый, действительно подействовал на него, и именно так, как она этого хотела.

«Да, такого человека можно полюбить. Эти глаза. И это простое, благородное и – как он ни бормочи молитвы – и страстное лицо! – думала она. – Нас, женщин, не обманешь. Еще когда он придвинул лицо к стеклу и увидел меня, и понял, и узнал. В глазах блеснуло и припечаталось. Он полюбил, пожелал меня. Да, пожелал», – говорила она, сняв, наконец, ботик и ботинок и принимаясь за чулки. Чтобы снять их, эти длинные чулки на ластиках, надо было поднять юбки. Ей совестно стало, и она проговорила:

– Не входите.

Но из-за стены не было никакого ответа. Продолжалось равномерное бормотание и еще звуки движения, «Верно, он кланяется в землю, – думала она. – Но не отклоняется он, – проговорила она. – Он обо мне думает. Так же, как я об нем. С тем же чувством думает он об этих ногах», – говорила она, сдернув мокрые чулки и ступая босыми ногами по койке и поджимая их под себя. Она посидела так недолго, обхватив колени руками и задумчиво глядя перед собой. «Да эта пустыня, эта тишина. И никто никогда не узнал бы...»

Она встала, снесла чулки к печке, повесила их на отдушник. Какой-то особенный был отдушник. Она повертела его и потом, легко ступая босыми ногами, вернулась на койку и опять села на нее с ногами. За стеной совсем затихло. Она посмотрела на крошечные часы, висевшие у нее на шее. Было два часа. «Наши должны подъехать около трех». Оставалось не больше часа.

«Что ж, я так просижу тут одна. Что за вздор! Не хочу я. Сейчас позову его».

– Отец Сергей! Отец Сергей! Сергей Дмитрич. Князь Касатский!

За дверью было тихо.

– Послушайте, это жестоко. Я бы не звала вас. Если бы мне не нужно было. Я больна. Я не знаю, что со мною, – заговорила она страдающим голосом. – Ох, ох! – застонала она, падая на койку. И странное дело, она точно чувствовала, что она изнемогает, вся изнемогает, что все болит у нее и что ее трясет дрожь, лихорадка.

– Послушайте, помогите мне. Я не знаю, что со мной. Ох! Ох! – Она расстегнула платье, открыла грудь и закинула обнаженные по локоть руки. – Ох! Ох!

Все это время он стоял в своем чулане и молился. Прочтя все вечерние молитвы, он теперь стоял неподвижно, устремив глаза на кончик носа, и творил умную молитву, духом повторяя: «Господи Иисусе Христе, сыне божки, помилуй мя».

Но он все слышал. Он слышал, как она шуршала шелковой тканью, снимая платье, как она ступала босыми ногами по полу; он слышал, как она терла себе рукой ноги. Он чувствовал, что он слаб и что всякую минуту может погибнуть, и потому не переставая молился. Он испытывал нечто подобное тому, что должен испытывать тот сказочный герой, который должен был идти не оглядываясь. Так и Сергей слышал, чуял, что опасность, гибель тут, над ним, вокруг него, и он может спастись, только ни на минуту не оглядываясь на нее. Но вдруг желание взглянуть охватило его. В то же мгновение она сказала:

– Послушайте, это бесчеловечно. Я могу умереть.

«Да, я пойду, но так, как делал тот отец, который

накладывал одну руку на блудницу, а другую клал в жаровню. Но жаровни нет». Он оглянулся. Лампа. Он выставил палец над огнем и нахмурился, готовясь терпеть, и довольно долго ему казалось, что он не чувствует, но вдруг – он еще не решил, больно ли и насколько, как он

сморщился весь и отдернул руку, махая ею. «Нет, я не могу этого».

– Ради бога! Ох, подите ко мне! Я умираю, ох!

«Так что же, я погибну? Так нет же».

– Сейчас я приду к вам, – проговорил он и, отворив свою дверь, не глядя на нее, прошел мимо нее в дверь в сени, где он рубил дрова, ощупал чурбан, на котором он рубил дрова, и топор, прислоненный к стене.

– Сейчас, – сказал он и, взяв топор в правую руку, положил указательный палец левой руки на чурбан, взмахнул топором и ударил по нем ниже второго сустава. Палец отскочил легче, чем отскакивали дрова такой же толщины, перевернулся и шлепнулся на край чурбана и потом на пол.

Он услышал этот звук прежде, чем почувствовал боль. Но не успел он удивиться тому, что боли нет, как он почувствовал жгучую боль и тепло полившейся крови. Он быстро прихватил отрубленный сустав подолом рясы и, прижав его к бедру, вошел назад в дверь и, остановившись против женщины, опустив глаза, тихо спросил:

– Что вам?

Она взглянула на его побледневшее лицо с дрожащей левой щекой, и вдруг ей стало стыдно. Она вскочила, схватила шубу и, накинув на себя, закуталась в нее.

– Да, мне было больно... я простудилась... я... Отец Сергей... я...

Он поднял на нее глаза, светившиеся тихим радостным светом, и сказал:

– Милая сестра, за что ты хотела погубить свою бессмертную душу? Соблазны должны войти в мир, но горе тому, через кого соблазн входит... Молись, чтобы бог простил нас.

Она слушала его и смотрела на него. Вдруг она услышала капли падающей жидкости. Она взглянула и увидела, как по рясе текла из руки кровь.

– Что вы сделали с рукой? – Она вспомнила звук, который слышала, и, схватив лампаду, выбежала в сени и увидела на полу окровавленный палец. Бледнее его она вернулась и хотела сказать ему; но он тихо прошел в чулан и запер за собой дверь.

– Простите меня, – сказала она. – Чем выкуплю я грех свой?

– Уйди.

– Дайте я перевяжу вам рану.

– Уйди отсюда.

Торопливо и молча оделась она. И готовая, в шубе, сидела, ожидая. С надворья слышались бубенцы.

– Отец Сергей. Простите меня.

– Уйди. Бог простит.

– Отец Сергей. Я переменю свою жизнь. Не оставляйте меня.

– Уйди.

– Простите и благословите меня.

– Во имя отца и сына и святого духа, – слышалось из-за перегородки. – Уйди.

Она зарыдала и вышла из кельи. Адвокат шел ей навстречу.

– Ну, проиграл, нечего делать. Куда ж вы сядете?

– Все равно.

Она села и до дома не сказала ни одного слова.

Через год она была пострижена малым постригом* и жила строгой жизнью в монастыре под руководством затворника Арсения, который изредка писал ей письма.

VI

В затворе прожил отец Сергей еще семь лет. Сначала отец Сергей принимал многое из того, что ему приносили: и чай, и сахар, и белый хлеб, и молоко, и одежду, и дрова. Но чем дальше и дальше шло время, тем строже и строже он устанавливал свою жизнь, отказываясь от всего лишнего, и, наконец, дошел до того, что не принимал больше ничего, кроме черного хлеба один

раз в неделю. Все то, что приносили ему, он раздавал бедным, приходившим к нему.

Все время свое отец Сергей проводил в келье на молитве или в беседе с посетителями, которых все становилось больше и больше. Выходил отец Сергей только в церковь раза три в год, и за водой, и за дровами, когда была в том нужда.

После пяти лет такой жизни случилось то, ставшее скоро везде известным событие с Маковкиной, ее ночное посещение, совершившаяся в ней после этого перемена и ее поступление в монастырь. С тех пор слава отца Сергея стала увеличиваться. Посетителей стало приходить все больше и больше, и около его кельи поселились монахи, построилась церковь и гостиница. Слава про отца Сергея, как всегда, преувеличивая его подвиги, шла все дальше и дальше. Стали стекаться к нему издалека и стали приводить к нему болящих, утверждая, что он исцеляет их.

Первое исцеление было на восьмой год его жизни в затворе. Это было исцеление четырнадцатилетнего мальчика, которого привела мать к отцу Сергию с требованием, чтобы он наложил на него руки. Отцу Сергию и в мысль не приходило, чтобы он мог исцелять болящих. Он считал бы такую мысль великим грехом гордости; но мать, приведшая мальчика, неотступно молила его, валялась в ногах, говорила: за что он, исцеляя других, не хочет помочь ее сыну, просила ради Христа. На утверждение отца Сергея, что только бог исцеляет, говорила, что она просит его только наложить руку и помолиться. Отец Сергей отказался и ушел в свою келью. Но на другой день (это было осенью, и уже ночи были холодные) он, выйдя из кельи за водой, увидел опять ту же мать с своим сыном, четырнадцатилетним бледным, исхудавшим мальчиком, и услышал те же мольбы. Отец Сергей вспомнил притчу о неправедном судье и, прежде не имевши сомнений в том, что он должен отказать, почувствовал сомнение, а почувствовав сомнение, стал на молитву и молился до тех пор, пока в душе его не возникло решение. Решение было такое, что он должен исполнить требование женщины, что вера ее может спасти ее сына; сам же он, отец Сергей, в этом случае не что иное, как ничтожное орудие, избранное богом.

И, выйдя к матери, отец Сергей исполнил ее желание, положил руку на голову мальчика и стал молиться.

Мать уехала с сыном, и через месяц мальчик выздоровел, и по округе прошла слава о святой целебной силе старца Сергея, как его называли теперь. С тех пор не проходило недели, чтобы к отцу Сергию не приходили, не приезжали больные. И, не отказав одним, он не мог отказывать и другим, и накладывал руку и молился, и исцелялись многие, и слава отца Сергея распространялась дальше и дальше.

Так прошло девять лет в монастыре и тринадцать в уединении. Отец Сергей имел вид старца: борода у него была длинная и седая, но волосы, хотя и редкие, еще черные и курчавые.

VII

Отец Сергей уже несколько недель жил с одной неотступною мыслью: хорошо ли он делал, подчиняясь тому положению, в которое он не столько сам стал, сколько поставили его архимандрит и игумен. Началось это после выздоровевшего четырнадцатилетнего мальчика, с тех пор с каждым месяцем, неделей, днем Сергей чувствовал, как уничтожалась его внутренняя жизнь и заменялась внешней. Точно его выворачивали наружу.

Сергий видел, что он был средством привлечения посетителей и жертвователей к монастырю и что потому монастырские власти обставляли его такими условиями, в которых бы он мог быть наиболее полезен. Ему, например, не давали уже совсем возможности трудиться. Ему припасали все, что ему могло быть нужно, и требовали от него только того, чтобы он не лишал своего благословения тех посетителей, которые приходили к нему. Для его удобства устроили дни, в которые он принимал. Устроили приемную для мужчин и место, огороженное перилами так, что его не сбивали с ног бросавшиеся к нему посетительницы, — место, где он мог благословлять приходящих. Если говорили, что он нужен был людям, что, исполняя закон Христов любви, он не мог отказывать людям в их требовании видеть его, что удаление от этих людей было бы жестокостью, он не мог не соглашаться с этим, но, по мере того как он отдавался этой жизни, он чувствовал, как внутреннее переходило во внешнее, как иссякал в нем источник воды живой, как

то, что он делал, он делал все больше и больше для людей, а не для бога.

Говорил ли он наставления людям, просто благословлял ли, молился ли о болящих, давал ли советы людям о направлении их жизни, выслушивал ли благодарность людей, которым он помог либо исцелением, как ему говорили, либо поучением, он не мог не радоваться этому, не мог не заботиться о последствиях своей деятельности, о влиянии ее на людей. Он думал о том, что он был светильник горящий, и чем больше он чувствовал это, тем больше он чувствовал ослабление, потухание божеского света истины, горящего в нем. «Насколько то, что я делаю, для бога и насколько для людей?» – вот вопрос, который постоянно мучал его и на который он никогда не то что не мог, но не решался ответить себе. Он чувствовал в глубине души, что дьявол подменил всю его деятельность для бога деятельностью для людей. Он чувствовал это потому, что как прежде ему тяжело было, когда его отрывали от его уединения, так ему тяжело было его уединение. Он тяготился посетителями, уставал от них, но в глубине души он радовался им, радовался тем восхвалениям, которыми окружали его.

Было даже время, когда он решил уйти, скрыться. Он даже все обдумал, как это сделать. Он приготовил себе мужицкую рубаху, портки, кафтан и шапку. Он объяснил, что это нужно ему для того, чтобы давать просящим. И он держал это одеяние у себя, придумывая, как он оденется, острижет волосы и уйдет. Сначала он уедет на поезде, проедет триста верст, сойдет и пойдет по деревням. Он расспрашивал старика солдата, как он ходит, как подают и пускают. Солдат рассказал, как и где лучше подают и пускают, и вот так и хотел сделать отец Сергей. Он даже разделся ночью и хотел идти, но он не знал, что хорошо: оставаться или бежать. Сначала он был в нерешительности, потом нерешительность прошла, он привык и покорился дьяволу, и одежда мужицкая только напоминала ему его мысли и чувства.

С каждым днем все больше и больше приходило к нему людей и все меньше и меньше оставалось времени для духовного укрепления и молитвы. Иногда, в светлые минуты, он думал так, что он стал подобен месту, где прежде был ключ. «Был слабый ключ воды живой, который тихо тек из меня, через меня. То была истинная жизнь, когда «она» (он всегда с восторгом вспоминал эту ночь и ее. Теперь мать Агнию) соблазняла его. Она вкусила той чистой воды. Но с тех пор не успевает набраться вода, как жаждущие приходят, теснятся, отбивая друг друга. И они затолкли все, осталась одна грязь». Так думал он в редкие, светлые минуты; но самое обыкновенное состояние его было: усталость и умиление перед собой за эту усталость.

Была весна, канун праздника преполовения.* Отец Сергей служил всю ночь в своей пещерной церкви. Народу было столько, сколько могло поместиться, человек двадцать. Это все были господа и купцы – богатые. Отец Сергей пускал всех, но эту выборку делали монахи, приставленный к нему, и дежурный, присылаемый ежедневно к его затвору из монастыря. Толпа народа, человек в восемьдесят странников, в особенности баб, толпилась наружи, ожидая выхода отца Сергея и его благословения. Отец Сергей служил и, когда он вышел, славя... к гробу своего предшественника, он пошатнулся и упал бы, если бы стоявший за ним купец и за ним монах, служивший за дьякона, не подхватили его.

– Что с вами? Батюшка! Отец Сергей! Голубчик! Господи! – заговорили голоса женщин. – Как платок стали.

Но отец Сергей тотчас же оправился и, хотя и очень бледный, отстранил от себя купца и дьякона и продолжал петь. Отец Серапион, дьякон, и причетники, и барыня Софья Ивановна, жившая всегда при затворе и ухаживавшая за отцом Сергием, стали просить его прекратить службу.

– Ничего, ничего, – улыбаясь чуть заметно под своими усами, проговорил отец Сергей, – не прерывайте службу.

«Да, так святые делают», – подумал он.

– Святой! Ангел божий! – послышался ему тотчас же сзади его голос Софьи Ивановны и еще того купца, который поддержал его. Он не послушался уговоров и продолжал служить. Опять теснясь, все прошли коридорчиками назад к маленькой церкви, и там, хотя немного и сократив ее, отец Сергей дослужил всю ночь.

Тотчас после службы отец Сергей благословил бывших тут и вышел на лавочку под вяз у входа в пещеры. Он хотел отдохнуть, подышать свежим воздухом, чувствовал, что ему это необходимо, но только что он вышел, как толпа народа бросилась к нему, прося благословенья и спрашивая советов и помощи. Тут были странницы, всегда ходящие от святого места к святому месту, от старца к старцу и всегда умиляющиеся перед всякой святыней и всяким старцем. Отец Сергей знал этот обычный, самый нерелигиозный, холодный, условный тип; тут были странники, большей частью из отставных солдат, отбившиеся от оседлой жизни, бедствующие и большей частью запивающие старики, шляющиеся из монастыря в монастырь, только чтобы кормиться; тут были и серые крестьяне и крестьянки с своими эгоистическими требованиями исцеления или разрешения сомнений о самых практических делах: о выдаче дочери, о найме лавочки, о покупке земли или о снятии с себя греха заспанного или прижитого ребенка. Все это было давно знакомо и неинтересно отцу Сергию. Он знал, что от этих лиц он ничего не узнает нового, что лица эти не вызовут в нем никакого религиозного чувства, но он любил видеть их, как толпу, которой он, его благословение, его слово было нужно и дорого, и потому он и тяготился этой толпой, и она вместе с тем была приятна ему. Отец Серапион стал было отгонять их, говоря, что отец Сергей устал, но он, вспомнив при том слова Евангелия: «Не мешайте им (детям) приходить ко мне» и умилившись на себя при этом воспоминании, сказал, чтобы их пустили.

Он встал, подошел к перильцам, около которых они толпились, и стал благословлять их и отвечать на их вопросы голосом, слабостью звука которого он сам умилялся. Но, несмотря на желание, принять их всех он не мог: опять у него потемнело в глазах, он пошатнулся и схватился за перила. Опять он почувствовал прилив к голове и сначала побледнел, а потом вдруг вспыхнул.

– Да, видно, до завтра. Я не могу нынче, – сказал он и, благословив вообще всех, пошел к лавочке. Купец опять подхватил его и довел за руку и посадил.

– Отец! – послышалось в толпе. – Отец! Батюшка! Не покинь ты нас. Пропали мы без тебя!

Купец, усадив отца Сергия на лавочку под вязами, взял на себя обязанность полицейскую и очень решительно взялся прогонять народ. Правда, он говорил тихо, так что отец Сергей не мог слышать его, но говорил решительно и сердито:

– Убирайтесь, убирайтесь. Благословил, ну, чего же вам еще? Марш. А то, право, шею намну. Ну, ну! Ты, тетка, черные онучи, ступай, ступай. Ты куда лезешь? Сказано, шабаш. Что завтра бог даст, а нынче весь отошел.

– Батюшка, только из глазка на личико его взглянуть, – говорила старушка.

– Я те взгляну, куда лезешь?

Отец Сергей заметил, что купец что-то строго действует, и слабым голосом сказал келейнику, чтоб он не гнал народ. Отец Сергей знал, что он все-таки прогонит, и очень желал остаться один и отдохнуть, но послал келейника сказать, чтобы произвести впечатление.

– Хорошо, хорошо. Я не гоню, я усовещиваю, – отвечал купец, – ведь они ради dokonать человека. У них жалости ведь нет, они только себя помнят. Нельзя, сказано. Иди. Завтра.

И купец прогнал всех.

Купец усердствовал и потому, что он любил порядок и любил гонять народ, помыкать им, и главное потому, что отец Сергей ему нужен был. Он был вдовец, и у него была единственная дочь, больная, не шедшая замуж, и он за тысячу четыреста верст привез ее к отцу Сергию, чтобы отец Сергей излечил ее. Он лечил эту дочь за два года ее болезни уж в разных местах. Сначала в губернском университетском городе в клинике – не помогли; потом возил ее к мужику в Самарскую губернию – немножко полегчало; потом возил к московскому доктору, заплатил много денег – ничего не помог. Теперь ему сказали, что отец Сергей излечивает, и вот он привез ее. Так что, когда купец разогнал весь народ, он подошел к отцу Сергию и, став без всяких приготовлений на колени, громким голосом сказал:

– Отец святой, благослови дочь мою болящую, исцелить от боли недуга. Дерзаю прибегнуть к святым стопам твоим. – И он сложил горсточкой руку на руку. Все это он сделал и сказал так, как будто он делал нечто ясно и твердо определенное законом и обычаем, как будто именно так, а не каким-либо иным способом надо и должно просить об исцелении дочери. Он сделал это

с такую уверенность, что даже и отцу Сергию показалось, что все это именно так и должно говорить и делать. Но он все-таки велел ему встать и рассказать, в чем дело. Купец рассказал, что дочь его, девица двадцати двух лет, заболела два года тому назад, после скорпостижной смерти матери, ахнула, как он говорит, и с тех пор повредилась. И вот он привез ее за тысячу четыреста верст, и она ждет в гостинице, когда отец Сергей прикажет привести ее. Днем она не ходит, боится света, а может выходить только после заката солнца.

– Что же, она очень слаба? – сказал отец Сергей.

– Нет, слабости она особой не имеет и корпусна, а только нерастениха, как доктор сказывал. Если бы нынче приказал отец Сергей привести ее, я бы духом слетал. Отец святой, оживите сердце родителя, восстановите род его – молитвами своими спасите болящую дочь его.

И купец опять с размаха упал на колени и, склонившись боком головой над двумя руками горсточкой, замер. Отец Сергей опять велел ему встать и, подумав о том, как тяжела его деятельность и как, несмотря на то, он покорно несет ее, тяжело вздохнул и, помолчав несколько секунд, сказал:

– Хорошо, приведите ее вечером. Я помолюсь о ней, но теперь я устал. – И он закрыл глаза. – Я пришлю тогда.

Купец, на цыпочках ступая по песку, отчего сапоги только громче скрипели, удалился, и отец Сергей остался один.

Вся жизнь отца Сергия была полна службами и посетителями, но нынче был особенно трудный день. Утром был приезжий важный сановник, долго беседовавший с ним; после него была барыня с сыном. Сын этот был молодой профессор, неверующий, которого мать, горячо верующая и преданная отцу Сергию, привезла сюда и упростила отца Сергия поговорить с ним. Разговор был очень тяжелый. Молодой человек, очевидно, не желал вступать в спор с монахом, соглашался с ним во всем, как с человеком слабым, но отец Сергей видел, что молодой человек не верит и что, несмотря на то, ему хорошо, легко и спокойно. Отец Сергей с неудовольствием вспоминал теперь этот разговор.

– Покушать, батюшка, – сказал келейник.

– Да, что-нибудь принесите.

Келейник ушел в келейку, построенную в десяти шагах от входа в пещеры, а отец Сергей остался один.

Давно уже прошло то время, когда отец Сергей жил один и сам все делал для себя и питался одной просвирой и хлебом. Уже давно ему доказали, что он не имеет права пренебрегать своим здоровьем, и его питали постными, но здоровыми кушаньями. Он употреблял их мало, но гораздо больше, чем прежде, и часто ел с особенным удовольствием, а не так, как прежде, с отвращением и сознанием греха. Так это было и теперь. Он поел кашку, выпил чашку чая и съел половину белого хлеба.

Келейник ушел, и он остался один на лавочке под вязом.

Был чудный майский вечер, лист только что разлопушился на березах, осинах, вязах, черемухах и дубах. Черемуховые кусты за вязом были в полном цвету и еще не осыпались. Соловьи, один совсем близко и другие два или три внизу в кустах у реки, щелкали и заливались. С реки слышалось далеко пенье возвращавшихся, верно с работы, рабочих; солнце зашло за лес и брызгало разбившимися лучами сквозь зелень. Вся сторона эта была светло-зеленая, другая, с вязом, была темная. Жуки летали а хлопались и падали.

После ужина отец Сергей стал творить умственную молитву: «Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас», – а потом стал читать псалом, и вдруг, среди псалма, откуда ни возмись, воробей слетел с куста на землю и, чиликая и попрыгивая, подскочил к нему, испугался чего-то и улетел. Он читал молитву, в которой говорил о своем отречении от мира, и торопился поскорее прочесть ее, чтобы послать за купцом с больною дочерью: она интересовала его. Она интересовала его тем, что это было развлечение, новое лицо, тем, что и отец ее и она считали его угодником, таким, чья молитва исполнялась. Он отрекался от этого, но он в глубине души сам считал себя таким.

Он часто удивлялся тому, как это случилось, что ему, Степану Касатскому, довелось быть

таким необыкновенным угодником и прямо чудотворцем, но то, что он был такой, не было никакого сомнения: он не мог не верить тем чудесам, которые он сам видел, начиная с расслабленного мальчика и до последней старушки, получившей зрение по его молитве.

Как ни странно это было, это было так. Так купцова дочь интересовала его тем, что она была новое лицо, что она имела веру в него, и тем еще, что предстояло опять на ней подтвердить свою силу исцеления и свою славу. «За тысячу верст приезжают, в газетах пишут, государь знает, в Европе, в неверующей Европе знают», – думал он. И вдруг ему стало совестно своего тщеславия, и он стал опять молиться богу. «Господи, царю небесный, утешителю, душе истины, приди и вселися в ны, и очисти ны от веяния скверны, и спаси, блаже, души наша. Очисти от скверны славы людской, обуревающей меня», – повторил он и вспомнил, сколько раз он молился об этом и как тщетны были до сих пор в этом отношении его молитвы: молитва его делала чудеса для других, но для себя он не мог выпросить у бога освобождения от этой ничтожной страсти.

Он вспомнил молитвы свои в первое время затвора, когда он молился о даровании ему чистоты, смирения и любви, и о том, как ему казалось тогда, что бог услышал его молитвы, он был чист и отрубил себе палец, и он поднял сморщенный сборками отрезок пальца и поцеловал его; ему казалось, что он и был смиренен тогда, когда он постоянно гадок был себе своей греховностью, и ему казалось, что он имел тогда и любовь, когда вспоминал, с каким умилением он встретил тогда старика, зашедшего к нему, пьяного солдата, требовавшего денег, и ее. Но теперь? И он спросил себя: любит ли он кого, любит ли Софью Ивановну, отца Серапиона, испытал ли он чувство любви ко всем этим лицам, бывшим у него нынче, к этому ученому юноше, с которым он так поучительно беседовал, заботясь только о том, чтобы показать ему свой ум и неотсталость от образования. Ему приятна, нужна любовь от них, но к ним любви он не чувствовал. Не было у него теперь любви, не было и смирения, не было и чистоты.

Ему было приятно узнать, что купцовой дочери двадцать два года, и хотелось знать, красива ли она. И, спрашивая о ее слабости, он именно хотел знать, имеет ли она женскую прелесть или нет.

«Неужели я так пал? – подумал он. – Господи, помоги мне, восстанови меня, господь и бог мой». И он сложил руки и стал молиться. Соловьи заливались. Жук налетел на него и пополз по затылку. Он сбросил его. «Да есть ли он? Что, как я стучусь у запертого снаружи дома... Замок на двери, и я мог бы видеть его. Замок этот – соловьи, жуки, природа. Юноша прав, может быть». И он стал громко молиться и долго молился, до тех пор пока мысли эти не исчезли и он почувствовал себя опять спокойным и уверенным. Он позвонил в колокольчик и вышедшему келейнику сказал, что пускай купец этот с дочерью придет теперь.

Купец привел под руку дочь, провел ее в келью и тотчас же ушел.

Дочь была белокурая, чрезвычайно белая, бледная, полная, чрезвычайно короткая девушка, с испуганным детским лицом и очень развитыми женскими формами. Отец Сергей остался на лавочке у входа. Когда проходила девушка и остановилась подле него и он благословил ее, он сам ужаснулся на себя, как он осмотрел ее тело. Она прошла, а он чувствовал себя ужаленным. По лицу ее он увидал, что она чувственна и слабоумна. Он встал и вошел в келью. Она сидела на табурете, дожидаясь его.

Когда он вошел, она встала.

– Я к папаше хочу, – сказала она.

– Не бойся, – сказал он. – Что у тебя болит?

– Все у меня болит, – сказала она, и вдруг лицо ее осветилось улыбкой.

– Ты будешь здорова, – сказал он. – Молись.

– Что молиться, я молилась, ничего не помогает. – И она все улыбалась. – Вот вы помолитесь да руки на меня наложите. Я во сне вас видела.

– Как видела?

– Видела, что вы вот так ручку наложили мне на грудь. – Она взяла его руку и прижала ее к своей груди. – Вот сюда.

Он отдал ей свою правую руку.

– Как тебя звать? – спросил он, дрожа всем телом и чувствуя, что он побежден, что похоть

ушла уже из-под руководства.

– Марья. А что?

Она взяла руку и поцеловала ее, а потом одной рукой обвила его за пояс и прижимала к себе.

– Что ты? – сказал он. – Марья. Ты дьявол.

– Ну, авось ничего.

И она, обнимая его, села с ним на кровать.

На рассвете он вышел на крыльцо.

«Неужели все это было? Отец придет. Она расскажет. Она дьявол. Да что же я сделаю? Вот он, тот топор, которым я рубил палец». – Он схватил топор и пошел в келью.

Келейник встретил его.

– Дров прикажете нарубить? Пожалуйте топор.

Он отдал топор. Вошел в келью. Она лежала и спала. С ужасом взглянул он на нее. Прошел в келью, снял мужицкое платье, оделся, взял ножницы, обстриг волосы и вышел по тропинке под гору к реке, у которой он не был четыре года.

Вдоль реки шла дорога; он пошел по ней и прошел до обеда. В обед он вошел в рожь и лег в ней. К вечеру он пришел к деревне на реке. Он не пошел в деревню, а к реке, к обрыву.

Было раннее утро, с полчаса до восхода солнца. Все было серо и мрачно, и тянул с запада холодный предрассветный ветер. «Да, надо кончить. Нет бога. Как покончить? Броситься? Умею плавать, не утонешь. Повеситься? Да, вот кушак, на суку». Это показалось так возможно и близко, что он ужаснулся. Хотел, как обыкновенно в минуты отчаяния, помолиться. Но молиться некому было. Бога не было. Он лежал, облокотившись на руку. И вдруг он почувствовал такую потребность сна, что не мог держать больше голову рукой, а вытянул руку, положил на нее голову и тотчас же заснул. Но сон этот продолжался только мгновение; он тотчас же просыпается и начинает не то видеть во сне, не то вспоминать.

И вот видит он себя почти ребенком, в доме матери в деревне. И к ним подъезжает коляска, и из коляски выходят: дядя Николай Сергеевич, с огромной, лопатой, черной бородой, и с ним худенькая девочка Пашенька, с большими кроткими глазами и жалким, робким лицом. И вот им, в их компанию мальчиков, приводят эту Пашеньку. И надо с ней играть, а скучно. Она глупая. Кончается тем, что ее поднимают на смех, заставляют ее показывать, как она умеет плавать. Она ложится на пол и показывает на сухом. И все хохочут и делают ее дурой. И она видит это и краснеет пятнами и становится жалкой, такой жалкой, что совестно и что никогда забыть нельзя этой ее кривой, доброй, покорной улыбки. И вспоминает Сергей, когда он видел ее после этого. Видел он ее долго потом, перед поступлением его в монахи. Она была замужем за каким-то помещиком, промотавшим все ее состояние и бившим ее. У нее было двое детей: сын и дочь. Сын умер маленьким.

Сергей вспоминал, как он видел ее несчастной. Потом он видел ее в монастыре вдовой. Она была такая же – не сказать глупая, но безвкусная, ничтожная и жалкая. Она приезжала с дочерью и ее женихом. И они были уже бедны. Потом он слышал, что она живет где-то в уездном городе и что она очень бедна. «И зачем я думаю о ней? – спрашивал он себя. Но не мог перестать думать о ней. Где она? Что с ней? Так ли она все несчастна, как была тогда, когда показывала, как плавают, по полу? Да что мне об ней думать? Что я? Кончить надо».

И опять ему страшно стало, и опять, чтобы спастись от этой мысли, он стал думать о Пашеньке.

Так он лежал долго, думая то о своем необходимом конце, то о Пашеньке. Пашенька представлялась ему спасением. Наконец он заснул. И во сне он увидел ангела, который пришел к нему и сказал: «Иди к Пашеньке и узнай от нее, что тебе надо делать, и в чем твой грех, и в чем твое спасение».

Он проснулся и, решив, что это было виденье от бога, обрадовался и решил сделать то, что ему сказано было в видении. Он знал город, в котором она живет, – это было за триста верст, – и пошел туда.

VIII

Пашенька уж давно была не Пашенька, а старая, высохшая, сморщенная Прасковья Михайловна, теща неудачника, пьющего чиновника Маврикьева. Жила она в том уездном городе, в котором зять имел последнее место, и там кормила семью: и дочь, и самого больного, неврастеника зятя, и пятерых внучат. А кормила она тем, что давала уроки музыки Купцовым дочкам, по пятьдесят за час. В день было иногда четыре, иногда пять часов, так что в месяц зарабатывалось около шестидесяти рублей. Тем и жили покамест, ожидая места. С просьбами о месте Прасковья Михайловна послала письма ко всем своим родным и знакомым, в том числе и к Сергию. Но письмо это не застало его.

Была суббота, и Прасковья Михайловна сама замешивала сдобный хлеб с изюмом, который так хорошо делал еще крепостной повар у ее папаши. Прасковья Михайловна хотела завтра к празднику угостить внучат.

Маша, дочь ее, нянчилась с меньшим, старшие, мальчик и девочка, были в школе. Сам зять не спал ночь и теперь заснул. Прасковья Михайловна долго не спала вчера, стараясь смягчить гнев дочери на мужа.

Она видела, что зять – слабое существо, не мог говорить и жить иначе, и видела, что упреки ему от жены не помогут, и она все силы употребляла, чтобы смягчить их, чтоб не было упреков, не было зла. Она не могла физически почти переносить недобрые отношения между людьми. Ей так ясно было, что от этого ничто не может стать лучше, а все будет хуже. Да этого даже она не думала, она просто страдала от вида злобы, как от дурного запаха, резкого шума, ударов по телу.

Она только что самодовольно учила Лукерью, как замешивать опару, когда Миша, шестилетний внук, в фартучке, на кривых ножках, в штопаных чулочках, прибежал в кухню с испуганным лицом.

– Бабушка, старик страшный тебя ищет.

Лукерья выглянула:

– И то, странник какой-то, барыня.

Прасковья Михайловна обтерла свои худые локти один о другой и руки об фартук и пошла было в дом за кошельком подать пять копеек, но потом вспомнила, что нет меньше гривенника, и решила подать хлеба и вернулась к шкапу, но вдруг покраснела, вспомнив, что она пожалела, и, приказав Лукерье отрезать ломоть, сама пошла сверх того за гривенником. «Вот тебе наказание, – сказала она себе, – вдвое подай».

Она подала, извиняясь, и то и другое страннику, и когда подавала, не только уж не гордилась своей щедростью, а, напротив, устыдилась, что подает так мало. Такой значительный вид был у странника.

Несмотря на то, что он триста верст прошел Христовым именем, и оборвался, и похудел, и почернел, волосы у него были обстрижены, шапка мужицкая и сапоги такие же, несмотря на то, что он смиренно кланялся, у Сергия был все тот же значительный вид, который так привлекал к нему. Но Прасковья Михайловна не узнала его. Она и не могла узнать его, не видав его почти тридцать лет.

– Не взыщите, батюшка. Может, поесть хотите?

Он взял хлеб и деньги. И Прасковья Михайловна удивилась, что он не уходит, а смотрит на нее.

– Пашенька. Я к тебе пришел. Прими меня.

И черные прекрасные глаза пристально и просительно смотрели на нее и заблестели выступившими слезами. И под седеющими усами жалостно дрогнули губы.

Прасковья Михайловна схватилась за высохшую грудь, открыла рот и замерла спустившимися зрачками на лице странника.

– Да не может быть! Степа! Сергей! Отец Сергей.

– Да, он самый, – тихо проговорил Сергей. – Только не Сергей, не отец Сергей, а великий

грешник Степан Касатский, погибший, великий грешник. Прими, помоги мне.

– Да не может быть, да как же вы это так смирились? Да пойдете же.

Она протянула руку; но он не взял ее и пошел за нею.

Но куда вести? Квартирка была маленькая. Сначала была отведена комнатка крошечная, почти чуланчик, для нее, но потом и этот чуланчик она отдала дочери. И теперь там сидела Маша, укачивая грудного.

– Сядьте сюда, сейчас, – сказала она Сергию, указывая на лавку в кухне.

Сергий тот час же сел и снял, очевидно уж привычным жестом, сначала с одного, потом с другого плеча сумку.

– Боже мой, боже мой, как смирился, батюшка! Какая слава и вдруг так...

Сергий не отвечал и только кротко улыбнулся, укладывая подле себя сумку.

– Маша, это знаешь кто?

И Прасковья Михайловна шепотом рассказала дочери, кто был Сергей, и они вместе вынесли и постель и люльку из чулана, опростав его для Сергия.

Прасковья Михайловна провела Сергия в каморку.

– Вот тут отдохните. Не взыщите, А мне идти надо.

– Куда?

– Уроки у меня тут, совестно и говорить – музыке учу.

– Музыке – это хорошо. Только одно, Прасковья Михайловна, я ведь к вам за делом пришел. Когда я могу поговорить с вами?

– За счастье почту. Вечером можно?

– Можно, только еще просьба: не говорите обо мне, кто я. Я только вам открылся. Никто не знает, куда я ушел. Так надо.

– Ах, а я сказала дочери.

– Ну, попросите ее не говорить.

Сергий снял сапоги, лег и тотчас же заснул после бессонной ночи и сорока верст ходу.

Когда Прасковья Михайловна вернулась, Сергей сидел в своей каморке и ждал ее. Он не выходил к обеду, а поел супу и каши, которые принесла ему туда Лукерья.

– Что же ты раньше пришла обещанного? – сказал Сергей. – Теперь можно поговорить?

– И за что мне такое счастье, что такой посетитель? Я уж пропустила урок. После... Я мечтала все съездить к вам, писала вам, и вдруг такое счастье.

– Пашенька! пожалуйста, слова, которые я скажу тебе сейчас, прими как исповедь, как слова, которые я в смертный час говорю перед богом. Пашенька! я не святой человек, даже не простой, рядовой человек: я грешник, грязный, гадкий, заблудший, гордый грешник, хуже, не знаю, всех ли, но хуже самых худых людей.

Пашенька смотрела сначала выпучив глаза; она верила. Потом, когда она вполне поверила, она тронула рукой его руку и, жалостно улыбаясь, сказала:

– Стива, может быть, ты преувеличиваешь?

– Нет, Пашенька. Я блудник, я убийца, я богохульник и обманщик.

– Боже мой! Что ж это? – проговорила Прасковья Михайловна.

– Но надо жить. И я, который думал, что все знаю, который учил других, как жить, – я ничего не знаю, и я тебя прошу научить.

– Что ты, Стива. Ты смеешься. За что вы всегда смеетесь надо мной?

– Ну, хорошо, я смеюсь; только скажи мне, как ты живешь и как прожила жизнь?

– Я? Да я прожила самую гадкую, скверную жизнь, и теперь бог наказывает меня, и поделом, и живу так дурно, так дурно...

– Как же ты вышла замуж? как жила с мужем?

– Все было дурно. Вышла – влюбилась самым гадким манером. Папа не желал этого. Я ни на что не посмотрела, вышла. И замужем, вместо того чтобы помогать мужу, я мучила его ревностью, которую не могла в себе победить.

– Он пил, я слышал.

– Да, но я-то не умела успокоить его. Упрекала его. А ведь это болезнь. Он не мог удержаться, а я теперь вспоминаю, как я не давала ему. И у нас были ужасные сцены.

И она смотрела прекрасными, страдающими при воспоминании глазами на Касатского.

Касатский вспоминал, как ему рассказывали, что муж бил Пашеньку. И Касатский видел теперь, глядя на ее худую, высохшую шею с выдающимися жилами за ушами и пучком редких полуседых, полурусых волос, как будто видел, как это происходило.

– Потом я осталась одна с двумя детьми и без всяких средств.

– Да ведь у вас было именье.

– Это еще при Васе мы продали и всё... прожили. Надо было жить, а я ничего не умела – как все мы, барышни. Но я особенно плоха, беспомощна была. Так проживали последнее, я учила детей – сама немножко подучилась. А тут Митя заболел уже в четвертом классе, и бог взял его. Манечка полюбила Ваню – зятя. И что ж, он хороший, но только несчастный. Он больной.

– Мамаша, – перебила ее речь дочь. – Возьмите Мишу, не могу я разорваться.

Прасковья Михайловна вздрогнула, встала и, быстро ступая в своих стоптанных башмаках, вышла в дверь и тотчас же вернулась с двухлетним мальчиком на руках, который валился назад и схватился ручонками за ее косынку.

– Да, так на чем я остановилась? Ну вот, было у него место тут хорошее – и начальник такой милый, но Ваня не мог и вышел в отставку.

– Чем же он болен?

– Неврастенией, это ужасная болезнь. Мы советовались, но надо бы ехать, но средств нет. Но я все надеюсь, что так пройдет. Особенных болей у него нет, но...

– Лукерья! – слышался его голос, сердитый и слабый. – Всегда ушлют куда-нибудь, когда ее нужно, Мамаша!..

– Сейчас, – опять перебила себя Прасковья Михайловна. – Он не обедал еще. Он не может с нами.

Она вышла, что-то устроила там и вернулась, обтирая загорелые худые руки.

– Так вот и живу. И всё жалуемся, и всё недовольны, а, слава богу, внуки все славные, здоровые, и жить еще можно. Да что про меня говорить.

– Ну, чем же вы живете?

– А немножко я вырабатываю. Вот я скучала музыкой, а теперь как она мне пригодилась.

Она держала маленькую руку на комодце, у которого сидела, и, как упражнения, перебирала худыми пальцами.

– Что же вам платят за уроки?

– Платят и рубль, и пятьдесят копеек, есть и тридцать копеек. Они все такие добрые ко мне.

– И что же, успехи делают? – чуть улыбаясь глазами, спросил Касатский.

Прасковья Михайловна не поверила сразу серьезности вопроса и вопросительно взглянула ему в глаза.

– Делают и успехи. Одна славная девочка есть, мясника дочь. Добрая, хорошая девочка. Вот если бы я была порядочная женщина, то, разумеется, по папашиним связям, я бы могла найти место зятю. А то я ничего не умела и вот довела их всех до этого.

– Да, да, – говорил Касатский, наклоняя голову. – Ну, а как вы, Пашенька, в церковной жизни участвуете? – спросил он.

– Ах, не говорите. Уж так дурно, так запустила. С детьми говею и бываю в церкви, а то по месяцам не бываю. Детей посылаю.

– А отчего же не бываете сами?

– Да правду сказать, – она покраснела, – да оборванной идти совестно перед дочерью, внучатами, а новенького нет. Да просто ленюсь.

– Ну, а дома молитесь?

– Молюсь, да что за молитва, так, машинально. Знаю, что не так надо, да нет настоящего чувства, только и есть, что знаешь всю свою гадость...

– Да, да, так, так, – как бы одобряя, подговаривал Касатский.

– Сейчас, сейчас, – ответила она на зов зятя и, поправив на голове косичку, вышла из ком-

наты.

На этот раз она долго не возвращалась. Когда она вернулась, Касатский сидел в том же положении, опершись локтями на колена и опустив голову. Но сумка его была надета на спину.

Когда она вошла с жестяной, без колпака, лампочкой, он поднял на нее свои прекрасные, усталые глаза и глубоко, глубоко вздохнул.

– Я им не сказала, кто вы, – начала она робко, – а только сказала, что странник из благородных и что я знала. Пойдемте в столовую, чаю.

– Нет...

– Ну, я сюда принесу.

– Нет, ничего не надо. Спаси тебя бог, Пашенька. Я пойду. Если жалеешь, не говори никому, что видела меня. Богом живым заклинаю тебя: не говори никому. Спасибо тебе. Я бы поклонился тебе в ноги, да знаю, что это смутит тебя. Спасибо, прости Христа ради.

– Благословите.

– Бог благословит. Прости Христа ради.

И он хотел идти, но она не пустила его и принесла ему хлеба, баранок и масла. Он взял всё и вышел.

Было темно, и не отошел он двух домов, как она потеряла его из вида и узнала, что он идет, только по тому, что протопопова собака залаяла на него.

«Так вот что значил мой сон. Пашенька именно то, что я должен был быть и чем я не был. Я жил для людей под предлогом бога, она живет для бога, воображая, что она живет для людей. Да, одно доброе дело, чашка воды, поданная без мысли о награде, дорожке облагодетельствованных мною для людей. Но ведь была доля искреннего желания служить богу?» – спрашивал он себя, и ответ был: «Да, но все это было загажено, заросло славой людской. Да, нет бога для того, кто жил, как я, для славы людской. Буду искать его».

И он пошел, как шел до Пашеньки, от деревни до деревни, сходясь и расходясь с странниками и странницами и прося Христа ради хлеба и ночлега. Изредка его бранила злая хозяйка, ругал выпивший мужик, но большей частью его кормили, поили, давали даже на дорогу. Его господское обличье располагало некоторых в его пользу. Некоторые, напротив, как бы радовались на то, что вот господин дошел также до нищеты. Но кротость его побеждала всех.

Он часто, находя в доме Евангелие, читал его, и люди всегда, везде все умилялись и удивлялись, как новое и вместе с тем давно знакомое слушали его.

Если удавалось ему послужить людям или советом, или грамотой, или уговором ссорящихся, он не видел благодарности, потому что уходил. И понемногу бог стал проявляться в нем.

Один раз он шел с двумя старушками и солдатом. Барин с барыней на шарабане, запряженном рысаком, и мужчина и дама верховые остановили их. Муж барыни ехал с дочерью верхами, а в шарабане ехала барыня с, очевидно, путешественником-французом.

Они остановили их, чтобы показать ему *les pèlerins*⁴, которые по свойственному русскому народу суеверию, вместо того чтобы работать, ходят из места в место.

Они говорили по-французски, думая, что не понимают их.

– *Demandez leur*, – сказал француз, – *s'ils sont bien sûrs de ce que leur pèlerinage est agréable à dieu*⁵.

Их спросили. Старушки отвечали:

– Как бог примет. Ногами-то были, сердцем будем ли?

Спросили солдата. Он сказал, что один, деться некуда. Спросили Касатского, кто он?

– Раб божий.

– *Qu'est ce qu'il dit? Il ne répond pas.*

⁴ странников (*франц.*).

⁵ Спросите у них, твердо ли они уверены, что их паломничество угодно богу. (*франц.*).

– Il dit qu'il est un serviteur de dieu.

– Cela dit être un fils de prêtre. Il a de la race. Avez-vous de la petite monnaie?⁶

У француза нашлась мелочь. И он всем роздал по двадцать копеек.

– Mais dites leur que ce n'est pas pour des cierges que je leur donne, mais pour qu'ils se régalent de thé; чай, чай, – улыбаясь, – pour vous, mon vieux⁷, – сказал он, трепля рукой в перчатке Касатского по плечу.

– Спаси Христос, – ответил Касатский, не надевая шапки и кланяясь своей лысой головой.

И Касатскому особенно радостна была эта встреча, потому что он презрел людское мнение и сделал самое пустое, легкое – взял смиренно двадцать копеек и отдал их товарищу, слепому нищему. Чем меньше имело значения мнение людей, тем сильнее чувствовался бог.

Восемь месяцев проходил так Касатский, на девятом месяце его задержали в губернском городе, в приюте, в котором он ночевал с странниками, и как беспаспортного взяли в часть. На вопросы, где его билет и кто он, он отвечал, что билета у него нет, а что он раб божий. Его причислили к бродягам, судили и сослали в Сибирь.

В Сибири он поселился на заимке у богатого мужика и теперь живет там. Он работает у хозяина в огороде, и учит детей, и ходит за больными.

⁶ — Что он сказал? Он не отвечает.

— Он сказал, что он слуга божий.

— Должно быть, это сын священника. Чувствуется порода. Есть у вас мелочь? (*франц.*).

⁷ Скажите им, что я даю им не на свечи, а чтобы она полакомились чаем... вам, дедушка (*франц.*).